



**В. В. РОЗАНОВ**

## **Л. Н. Толстой и Русская Церковь (1912)**

Настоящая статья была написана по просьбе г. редактора журнала «Revue contemporaine» — для ознакомления с вопросом о Толстом и Русской Церкви западноевропейских читателей. К такому уху и уму она и приноровлена — подробностями своими, тоном своим, мелочами. Но тезисы, в ней высказанные, суть в точности мои тезисы. Русская Церковь в 900-летнем стоянии своем (как, впрочем, и все почти историческое) поистине приводит в смятение дух: около древнего здания ходишь и проклинаешь, ходишь и смеешься, ходишь и восхищаешься, ходишь и торгаешься. И не даром — о не даром — Бог послал Риму Катилину и Катона, Гракхов и Кесаря... Всякая история непостижима: причина бесконечной свободы в ней — и плакать, и смеяться. И как основательно одно, основательно и другое... Но все же с осторожностью...

Или, может быть, даже без осторожности?

И это — *может быть*. История не только бесконечна, но и неуловима.

Статья была переведена на французский язык редакцией журнала; русский ее оригинал печатается теперь впервые.

*В. Р.*

*С.-Петербург, 25 сентября 1911 г.*

Они не понимали друг друга; даже не знали. И — разошлись. До проклятия, с одной стороны (отлучение Толстого от Церкви с его впечатлением в обществе), до полного пренебрежения — с другой (отношение Толстого к Церкви). Софья Андреевна передала мне на вопрос, «как отнесся Толстой к отлучению его», что он «выходил на свою обыкновенную прогулку, когда принесли с почты письма и газеты. Их клал на столик в прихожей. Толстой, разорвав бандероль, в первой же газете прочел о постановлении Синода, отлучавшем его от Церкви. Надел, прочитав, шапку — и пошел на прогулку. Впечатления никакого не было».

Потом, может быть, — было впечатление, но как оследующая волна от его собственных об этом предмете размышлений. Но никакой «волны» не поднялось в момент удара и от самого удара.

Духовенство наше страшно невоспитанно художественно, поэтически, литературно. И это не только справедливо относительно простых священников, но и относительно епископов и даже митрополитов. Митрополит Филарет Московский<sup>1</sup> был последним всесторонне просвещенным и художественно развитым лицом в составе русской иерархии. Его стихотворный ответ на одно стихотворение Пушкина, где говорилось о бесцельности жизни, указывает, что он был впечатлителен, и глубоко впечатлителен, к поэтическому слову. Но Филарет был вообще человек исключительных способностей. Чрезвычайно ученый архиепископ Херсонский и Одесский Никанор уже писал профессору Н. Я. Гроту, что он «имел терпение прочитать всего несколько глав “Анны Карениной”»: но роман ему «показался так неинтересен, скучен и бессодержателен, что он его бросил, не дочитав». Между тем этот архиеп. Никанор известен в нашей ученой литературе как первый знаток позитивной философии Огюста Конта и английских его последователей, написавший самый серьезный разбор ее. Большинство же духовенства, и высшего и низшего, не читало — иначе как случайно и в отрывках — даже «Войну и мир» и совершенно не имеет понятия о других превосходных и небольших произведениях Толстого. Оно так занято предметами своей церковной службы, вообще своею собственною «церковною историей», истекшею и текущею, неудовольствиями и затруднениями в своих отношениях к светской власти, от которой зависимо, наконец экономическим своим обеспечением или, вернее, полною необеспеченностью (русские священники не получают жалованья), что ему «не до стихов и прозы». Если оно что и читает, то сочинения друг друга о разных духовных предметах; это — серьезные; менее серьезные читают газеты и низменную беллетристику. Вообще, они придают значение жизни своей сословной и — жизни государственной; но жизни литературной они не придают никакого значения, «не ставят ее ни в какое число», говоря языком пифагорейцев. Поэтому когда вопрос зашел об отлучении Толстого от Церкви, то духовенству субъективно он представился совершенно иначе, чем всему русскому обществу, наконец — чем России. Для Церкви и духовенства «отлучить Толстого» — значило выразить, что начал еретичествовать и оскорблять Церковь «один из литераторов, незаслуженно превознесенный, который писал романы из пустой жизни светского общества, совершенно уже не христианской по нравственности и быту». О Толстом знали только, т. е. знало духовенство, что он

изображал балы, скачки, увеселения, охоту, сражения — все, «до духовных предметов не относящееся». И духовенство совершенно не знало, а в случаях знания — совершенно не понимало тот огромный, волнуемый и тонкий духовный мир, в который Толстой проник с небывалою пронизательностью. Духовенство наше не только литературно не образовано, но оно и психологически не развито: и сомнения, тревоги, колебания, мучения совести и ума Левина («Анна Каренина»), князя Андрея Болконского и Пьера Безухова («Война и мир»), Оленина («Казачи»), Нехлюдова («Воскресение» и «Утро помещика») — для него просто не существовали. Все это казалось «вздором и баловством барской души», праздной без работы и серьезного служебного долга.

Это — понимание одной стороны. Мы видим, что оно граничит с полным непониманием.

Но и Толстой, со своей стороны, совершенно не понимал Церкви.

\* \* \*

Он знал Евангелие — да.

Он видел темноту и корыстолюбие духовенства. Видел его мелкую бытовую неряшливость, сказывающуюся в мелкой боязни перед большою властью, непрямоту в отношениях к богатым людям, от которых оно экономически зависимо; и равнодушие к нравственному состоянию народа. Действительно, духовенство сумело приучить весь русский народ до одного человека к строжайшему соблюдению постов; но оно ни малейше не приучило, а следовательно, и не старалось приучить, русских темных людей к исполнительности и аккуратности в работе, к исполнению семейных и общественных обязанностей, к добросовестности в денежных расчетах, к правдивости со старшими и сильными, к трезвости. Вообще не научило народ, деревни и села, упорядоченной и трудолюбивой, трезвой жизни. Это имело страшно тяжелые последствия. Бывали случаи в России, что темный человек зарежет на дороге путника; обшаривая его карманы, найдет в них колбасу; тогда он ни за что не откусит от нее куска, если даже очень голоден, если убийство случилось в постный день, когда Церковью запрещено употребление мяса. Это — ужасный случай, но он действителен. Толстой вывел это во «Власти тьмы», где даже убивают новорожденного ребенка, — но предварительно надев на него крест, т. е. приобщив его к составу верующих, введя в Церковь. В России есть много святых людей: и гораздо

реже попадаетея просто честный, трудолюбивый человек, сознательный в своем долге и совестливый в обязанностях.

Это — общее несчастье России. Сколько в обществе и печати ни говорили об этом духовенству, оно было исторически глухо к этим словам. Оно не замечало, не чувствовало укоров. Таков дух и история Русской Церкви и русского духовенства: а известно каждому из личной жизни, как трудно сознавать, почувствовать и исправить специфические личные недостатки и пороки. Таким образом, этот страшный проступок духовенства есть, однако же, проявление только общечеловеческой, мировой слабости, безволия, бессознательности. Все — таковы: только мы и лично «таковы» в отношении других слабостей и пороков.

Толстой гневался и волновался около этих недостатков духовенства. Около его бесчувственности к слову, к укору. И волнение, развиваясь дальше, — выразилось в резком осуждении русских пышных церковных служб, пышных облачений и присущего духовенству значительного властолюбия и честолюбия. «К чему все это, когда вы не выучили народ даже воздерживаться от водки».

\* \* \*

Конечно, Толстой был прав здесь. Но мелкою правдою. Есть в мировых и исторических вещах крупная правда и мелкая правда. Перикл<sup>2</sup> украсил Афины великими созданиями архитектуры и скульптуры — и истощил государственную казну на это. Афиняне бросились на него с жестокими упреками, и едва он сам не принужден был пойти в изгнание. Он спасся только, сказав: «Хорошо, граждане, расходы на статуи и храмы я приму на свой личный счет; но зато на них сотру надпись: “Воздвиг афинский демос”, и выставлю надпись: “Это сделал для города Афин Перикл”». Афиняне взволновались и оставили прежние надписи, но приняли на себя и расходы, т. е. увеличение налогов. Другой пример: Сципион Африканский<sup>3</sup> спас Рим, победив Аннибала; но на поход в Африку истратил очень много денег и, главное, не записал всех расходов и не мог дать отчета. Народ, подготовленный агитаторами, в шумном собрании потребовал у него отчета. Молча он взглянул на неблагодарных граждан и сказал: «Сегодня годовщина битвы при Заме (где он разбил Аннибала); я иду в Капитолий принести благодарность богам. Кто хочет — пусть следует за мною». Впечатлительный народ под обаянием благородного слова кинулся за ним в Капитолий, покинув клеветников. В обоих случаях народ, требуя отчета в деньгах, был, разумеет-

ся, прав. Но он был мелочно прав: и оттого вообще не прав. В такую неправоту впал и Толстой.

Он не понял или, лучше сказать, просмотрел великую задачу, над которою трудилось духовенство и Церковь девятьсот лет, — усиливалось, и было чутко и умело здесь, и этой задачи действительно чудесно достигло. Это — выработка святого человека<sup>4</sup>, выработка самого типа святости, стиля святости; и — благочестивой жизни.

Конечно, если бы русский народ ограничивался представлением, что убить не так грешно, как съесть мяса в постный день, — то в России не было бы возможно вообще никакому человеку жить, сам народ давно погиб бы в пороках и Россия как государство и нация развалилась бы. Но чем-то она держится. Чем? Тем, что от старика до ребенка 10 лет известно всем, что такое «святой православный человек»; тем, что каждый русский знает, что «такие святые — есть, не переведутся и не переводились»; и что в совести своей, которая есть непременно у каждого человека, все русские вообще и каждый в отдельности тревожатся этим образом «святого человека», страдают о своем отступлении от этого идеала и всегда усиливаются вернуться к нему, достигнуть его — достигнуть хотя бы частично и ненадолго.

«Святой человек», или «Божий человек», есть образ, именно художественный образ (а не понятие), совершенно неизвестный Западной Европе и не выработанный ни одною Церковью — ни католицизмом, ни протестантизмом.

Он заключается в полном и совершенном отлучении себя от всякого своекорыстия; не говоря о деньгах и имуществе, даже вообще о собственности, — это отречение простирается и на славу, на уважение другими, на почет и известность. «Святой человек» погружается в совершенную тишину бемолвной, глубоко внутренней жизни<sup>5</sup>: но не пассивной и бездеятельной, а глубоко напряженной. Усилие направляется на искоренение в себе всех «нечистых помыслов», т. е. на искоренение самих мыслей и желаний, связанных с богатством, знатностью, женщинами, шумом городов и базаров. Но это — только отрицательная половина дела, которая была бы неисполнима без положительной: что же наполнило бы душу, опустевшую от «нечистых помыслов»? Свобода от «нечистых помыслов» есть только выметенная горница для принятия какого-то гостя. Этот «гость», в нее входящий, есть Бог. Но не «Бог» как понятие, не «Бог» как религиозная истина: а Живое Лицо Его, Живое Его Существо, наполняющее душу такого «русского праведника», «русского юродивого», «русского

святого» неопишным восторгом и счастьем. Но — не это одно, хотя это — главное. Русский не остается с этим. Иногда он на десять лет уходит в лес, выкапывает себе пещеру, строит себе шалаш и в нем живет, на голоде и холоде и в полном безмолвии, чтобы «сподобиться узреть Бога», «почувствовать Бога»... Он непрерывно молится: и молитва русского человека есть опять душевный феномен, малоизвестный или вовсе неизвестный у других народов. Этого ни описать, ни выразить нельзя, это нужно тайно подсмотреть или случайно услышать<sup>6</sup>. Вся молитва сплетается из глубокого сознания своей греховности, своего ничтожества, из совершенной примиренности души со всеми людьми, виденными и которых не видел он, из жажды Божией помощи, из надежды на Божию помощь. Душа такого человека за 5–10 лет прошла страшные отречения и полна страшной жажды. И «по вере» дается: он «чувствует Бога около себя», в своей пещере, шалаше, в келье; больше же всего, конечно, в душе и пылающем сердце. И вот он закален: закален от «искушений», соблазнов, от влечения к пустоте и ничтожеству мира. Но «русский святой» не бывает без великой любви ко всем людям. «Русский святой» есть глубоко народный святой. Тогда он выходит из своего уединения и безмолвия, и одни из таких людей делают «странниками», т. е. переходят из места в место, странствуют по всей России, идут в знаменитые величием и древнею славой монастыри России, Греции, Палестины. Или, чаще, поселяются где-нибудь поблизости к монастырю (но никогда почти в самом монастыре) и беседуют с теми людьми, которые к ним приходят искать утешения и совета в несчастии жизни, в потере ближних, смерти жены или мужа, смерти детей, в брошенности мужем или возлюбленным, в разорении, притеснениях от людей и власти. Наконец, приходят люди, запутавшиеся со своим умом и совестью; приходит убийца, приходит богач, кающийся в дурных способах приобретения богатства. Приходят все «труждающиеся и обремененные», о которых учил Спаситель, что Он «пришел исцелить их». Приходят, наконец, неизлечимо больные телом, чтобы он о болезни их «попросил Бога». Шалаш или келья такого «святого» бывают окружены массою народа: и, проходя среди него, «святой», по взгляду на лицо уже узнав, чем (приблизительно) томится пришедший, дотрагивается до него рукою, уводит его к себе в келью или как-нибудь уединяется, и беседует, расспрашивает, советует. Такому «святому», по общему народному убеждению, нельзя солгать, как и нельзя, «грех», что-нибудь ему не досказать. Таким образом перед ним раскрываются вся душа и вся жизнь пришедшего за помощью человека. И как за год он

переговорит таким образом с несколькими тысячами людей, а за много лет со многими десятками тысяч человек, то душа и духовный взор и духовный разум такого «святого» до того изошрятся и утончаются в постижении природы человеческой и всех колебаний жизни человеческой, что он становится — как народ называет — «прозорливым», т. е. он прозирает до самого дна душу человеческую, видит эту душу в самом трепете, в самых потаенных волнениях, в самых скрытых поползновениях и слабостях; и в то же время он видит в этой душе лучшие возможности, находит такие силы, которых сам пришедший в себе не знал, наконец, одушевляет и укрепляет к лучшей новой жизни своим святым одушевлением. Он не просто советует, а повелевает человеку сделать то-то и то-то, всегда в глубочайшем соответствии с силами и способностями человека, никогда его резко не насилуя и не ломая. Очень нуждающимся, сиротам, вдовам он помогает деньгами — из тех, которые приносят «в дар» ему другие. Толстой любил посещать таких «святых», ибо зрелище народное нигде так не открывается, как около жилищ таких «святых». Один такой русский отшельник дал ему сюжет для рассказа «Три старца»: он в нем только несколько переиначил случай, которого случайно был зрителем. Именно — Толстой раз видел, как такой «старец», уже окончив беседу с народом, шел к келье, а люди все бежали около него, и он от этого еще более изнемогал. Вот один из таких «бегущих» схватил его за край одежды. Старец к нему обернулся. — «Что тебе?» — «Как спасись?» — Старец, совсем изнеможенный, в силах был только проговорить: «Да сколько вас в дому?» — «Трое», — ответил пристававший. Тогда, остановясь и задыхаясь, старец сказал: «Ну, так и спасайтесь, молясь: три вас, три нас — спаси нас». Так мне рассказывал сам Толстой. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» вывел в лице старца Зосимы иеросхимонаха Амвросия из той Оптиной пустыни<sup>7</sup>, куда перед смертью поехал из Ясной Поляны гр. Толстой. Здесь же у отца Амвросия бывали лучшие русские философы, Страхов и Соловьев; первый был не только философом, но и превосходным ученым по физиологии и физике. К старцу Амвросию (он умер лет 18 назад) приезжали и купцы-миллионеры, и придворные лица, дворяне, военные, и последние бедняки, и убогие. И он совершенно одинаково говорил со всеми. Таким образом, подобный «святой» есть, собственно, «исцелитель» болящей душою России и болящей в жизни России — иногда на свою небольшую местность, иногда на несколько губерний, иногда даже на всю нашу землю. Последнее было со священником города Кронштадта, Иоанном.

Но это — законченный образ «святого». Однако приближения к нему крупными рассеяны во всем народе; или — редкий русский человек не переживает порывов к этой святости, хотя недолгих и обрывающихся. Вот эту сторону своей нравственной или, вернее, своей духовной жизни и живет русский народ, ею он крепок, через нее встает из всяких бед. Русский народ никогда не отчаивается, всегда надеется. Параллельно с грубостью, ленью, пьянством, пороками, но в другом направлении, идет другая волна — подъема, раскаяния, порывов к идеалу. И это в простом народе еще сильнее и распространеннее, чем в образованных классах.

Но этот «святой человек» дан Церковью, церковным духом, церковною историей. Молитвы, присущие нашей Церкви, которые непрерывно народ слышит в храмах, полны совершенно особенного духовного настроения и жизненного понимания. Это духовное настроение полно нежности, деликатности, глубокого участия к людям, глубокой всемирности... В храме постоянно слышатся молитвы «о всех людях» (не об одних православных, не только о своей Православной Церкви), о «примирении всех людей» (между прочим — о примирении «всех Церквей»); о том, чтобы Бог укрепил в людях кротость, прощение обиды; вместе с тем в храме упоминаются с молитвою о помощи «все, теперь блящие», все «путешествующие»; священник вслух молится, чтобы Бог помог присутствующим «подавить свой гнев», «не осуждать своего ближнего», «видеть собственные недостатки»; чтобы Бог помог каждому «расеять свое печальное настроение». Есть ежедневная молитва о том, чтобы Бог каждому присутствующему послал в свое время «безболезненную кончину» и «образ христианской смерти». Вместе с тем Церковь молится о плодородии земли, о «мире всего мира», о «благообразовании воздуха», т. е. о хорошей погоде для урожая, овощей и плодов. Все это очень народно и очень жизненно: храмовая служба наша обнимает мелкое и великое жизни человеческой во всех ее подробностях, в высшей степени понятных и в высшей степени нужных каждому. Отсюда проистекает народный и любимый характер церковной службы. Не зная церковной службы, совершенно нельзя понять, что такое русский народ и как он произошел. Если бы уничтожить церковную службу и разрушить действие ее на душу народную и на быт народный — Россия немедленно дезорганизовалась бы, пришла в хаос и пала. Храм вполне заменяет для нашего народа гимназию, школу, университет, книгу и науку<sup>8</sup>. Этого нельзя понять, не зная универсальности нашей храмовой службы и того, что она вся выражена поэтично, вдохновенно. Ее



музыкальная сторона, заключающаяся в повышении и понижениях голоса, произносящего молитвы, в напевах молитв, — удивительна. Таким образом, она не только просвещает народ известными истинами, но и постоянно зовет его к идеалу, притом к идеалу жизненному, простому, достижимому, практическому, трезвому и благородному.

\* \* \*

Вот великий «Акрополь» русского народа; его «победа над Аннибалом»... Здесь таится так много сокровищ, что в виду их совершенно невозможно было подымать тех споров с богословием Церкви, т. е. с книжными теориями о Церкви, которые начал Толстой. Пусть бы во всем был прав Толстой и «русское богословие» под его критикою превратилось бы в развалины. Это ничего решительно не затронуло бы. И «русский святой», с помощью всему слабому и болящему в народе, остался бы по-прежнему все так же нужен и полезен народу, так же свят и прекрасен в своем образе; и «даруй, Господи, мир всему миру, соедини всех верующих вместе, уничтожь разлад их сердец, дай нам всем кончину жизни светлую, совестливую и безболезненную» — все это осталось бы истинною, все это останется прекрасным и глубоким. Толстой был очень похож в своих богословских трудах на медведя, который — желая согнать муху с лица своего заснувшего друга человека — поднял бы против этой мухи камень, который может убить самого человека.

В этом он был не прав и бессилен. В России, в образованных классах, очень развит полный атеизм: атеисты шумно приветствовали его критику, воображая, что она что-то разрушает. Наконец, ей очень обрадовались теснимые правительством сектанты, так как эта критика удовлетворяла их чувству вражды к Церкви. Но на нее совершенно не обратила никакого внимания вся масса серьезно образованного русского общества, которая знает существо своей Церкви и знает ее корни.

\* \* \*

Еще о последних, об этих «корнях»... Толстой учился в университете на физико-математическом факультете<sup>9</sup>, притом, по собственному воспоминанию, — учился плохо и небрежно. Хотя он потом всю жизнь очень много читал и изучал, но это не могло заменить университетских лекций по истории. Дело в том, что никакая книга не содержит в себе интонаций живого голоса жи-

вого человека и не содержит «отступлений в сторону», оговорок и замечаний, которыми профессор сопровождает чтение в аудитории. Наконец, ни в какую книгу нельзя уложить и ни в какой ученой форме нельзя выразить тех частных бесед, бесед мелькающих, обрывающихся, недоконченных, которые студент, заинтересованный наукою, может иметь с профессором у него на дому или идя по коридору из аудитории. Ведь часто афоризм скажет больше, чем рассуждение; насмешка, сарказм живого человека или его восхищение, выраженное в блеске глаз и вибрации голоса, — скажут больше, чем печатные строки с печатным знаком восклицания. Словом, книга всегда «без штрихов»; и в книге говорит ученый «без тона»; а «тон делает музыку»: и Толстой знал историю вот именно «без музыки»<sup>10</sup>. Т. е., в сущности, он ее вовсе не знал, иначе как скелетно и в одних фактах. Духа ее не знал, аромата ее не обонял. Только ученый, уже всю жизнь посвятивший на изучение эпохи перехода античного мира в новый, христианский, мог бы в четыре года университетского курса дать почувствовать Толстому такие тайны античных чувств, такие тайны противоположных, христианских, чувств, мог бы передать такую непостижимость древней смерти и нового воскресения, какие поистине уловимы для голоса и уха и неуловимы для бумаги и чтения. Толстой был просто не образован в этой области. Как ни велик его гений, как ни глубоко и всемирно его сердце, он понял бы, что все-таки это есть личный гений, личное сердце, что через голову его проходят личные мысли, сегодня одни и завтра — другие: и все это только омывает подножие того гигантского горного хребта, какой являет собою история в бесчисленных пластах ее, твердых и неисповедимостях. Как мал Шекспир перед английскою историею! Может быть, он гениальнее всякого англичанина: но все-то англичане, весь английский народ, все поколения этого народа так велики, мудры, поэтичны, что Шекспир все-таки является среди него как Монблан среди Альп. Он выше всех: но Альпы неизмеримо больше его... То же и Толстой в религиозной критике православия: в одежде мужичка и странника, подражая русскому мужику и страннику<sup>11</sup>, — он входил в толпу народную, где-нибудь около монастыря. И он тонул, в ней, исчезал, становился невидим. Это — физически, но также и духовно. Он вдруг действительно перестает быть «великим» среди этого народа, болящего всеми язвами человеческими и мучающегося всеми человеческими сомнениями. Народ, простая, обыкновенная толпа в тысячу человек, но измученная и религиозно-взволнованная, поднятая религиозно молитвой, надеждой, страхом, отчаянием, принесенными сюда из домов своих, — она религиозно

была... не выше, но массивнее, серьезнее, страшнее всех учений Толстого о «непротивлении ли злу» или каких-то других, все равно. Народ — гигант, всегда гигант. История — еще больший гигант, колосс. И нельзя человеку, никогда нельзя подходить к этим величинам иначе, чем с желанием вникнуть сюда, уважать это, любить это...

Море всегда больше пловца... Оно больше Колумба, мудрее и поэтичнее его. И хорошо, конечно, что оно «позволило» Колумбу переплыть себя; но могло бы «не дозволить». Природа всегда более неисповедимая тайна, чем разум человеческий. Толстой — был разум. А история и Церковь — это природа<sup>12</sup>.

